
СТАНИСЛАВ ЗОЛОТЦЕВ

“ОКРУЖЕННЫЙ ОГНЕМ”

(Отдельные мысли о Станиславе Куняеве)

*Стихи Ваши действуют на меня неотразимо.
Но критика, который заглянул бы в их глубину,
еще не нашлось.*

Из письма Георгия Свиридова Ст. Куняеву

Первое впечатление – самое сильное, это всем известно, что впечатление от жизни, что от литературного произведения. Но самое ли верное? Вот, по словам автора, первое его воспоминание о самой ранней поре его судьбы, запечатленное в стихах:

*Свет полуночи. Пламя костра.
Птичий крик. Лошадиное ржанье.
Летний холод. Густая роса.
Это – первое воспоминанье.
В эту ночь я ночую в ночном.
Распахнулись миры надо мною.
Я лежу, окруженный огнем,
темным воздухом и тишиною.
Где-то лаяли страшные псы,
а луна заливала округу,
и хрустели травой жеребцы,
и сверкали, и жались друг к другу.*

Не хочу утверждать, что это было самое первое из мною прочитанных стихотворений Станислава Куняева. Скорее всего, далеко не первое – ведь оно опубликовано в уже четвертой книге поэта, в “Ночном пространстве” (1970), а имя автора (вместе с именами его “стержневых” сверстников-коллег) к тому времени было мне знакомо добрый десяток лет. Может быть, оно, написанное в 1967-м, встретилось автору сих заметок, питерскому студенту, в журнале или в газете. Как бы там ни было, именно с этими тремя строфами впечаталось в мое сознание имя – **Станислав Куняев**.

Да, сегодня мне это и самому кажется странным. Не те стихи, что к тому часу были на устах уже у множества любителей поэзии. (И у тех, кто уже тогда, в те, “постоттепельные”, годы тяготел к “западничеству”, к “либерально-общечеловеческим ценностям”, и у тех, кто уже тогда ощущал себя прежде всего принадлежащим к крупнейшему славянскому этносу, кому основы отечественности и устои национальной духовности становились доминантами мировидения, – в те поры жесткого, непримиримого разделения меж ними еще не намечилось, по крайней мере, относительно творческих имен. И мой старший

И такие действительно мужские строки, вселявшие в молодые сердца мужество, становившееся все более им необходимым в те “стабильные” годы. И откровения добра молодца, вошедшего в зрелость, но не могущего и не желающего расстаться с лучшим, что дало ему начало жизни – даже с ошибками, ушибами, с горечью разочарований:

“Пучина каспийская глухо / о плиты бетонные бьет, / и нежное слово “разлука”, / как в юности, спать не дает. / Нет, я еще все-таки молод, / как прежде, желанна земля, / поскольку жара или холод / равно хороши для меня, / и этот студент непутевый, / и этот безумный старик, / и этот, такой не-веселый, / спаленный дотла, материк! / ...И девушка в розовом платье, / и женщина в старом пальто! / Я понял, что славу и счастье / нельзя совместить ни за что, / что пуще неволи охота, / что время придет отдохнуть... / И древнее слово “свобода” / волнует, как в юности, грудь”.

... Волнует и поныне, и даже больше, чем в давние годы: ибо – где она? Так вот волнуют, как и рожденные в 70-е строки, сегодня не только не устаревшие, но сохранившие свою поэтическую “убойную” силу уже на уровне заповедей в определении понятий “народ”, “страна”, “родина”:

*Рожаящий, пьющий, курящий,
печальный, крикливый, любой...
И все-таки жизнетворящий,
на “ты” говорящий с судьбой!
... От Вытегры и до Амура,
от Канска до Новой Земли
страна, как звериная шкура,
сверкает в морозной пыли.*

Так может писать лишь человек, ощущающий окружение огненной стихии – даже и морозом обжигающей. И, что важно, идентифицирующий свое личностное “я” с огромным созидательным людским множеством, которое тоже окружено этой стихией: “Хорошо, что мы северный люд – снег и холод препятствуют гнили”. Тут уже и национальное самосознание говорит о себе...

И мог ли иначе видеть свою судьбу Ст. Куняев, буквально с первых шагов своего творческого пути оказавшийся не просто в литературном мире – но в его горниле, среди тех его творцов и тружеников, кто понимал и ощущал свою ответственность за Слово. Здесь не будет преувеличением сказать: не “оказался”, нет, он сам себя своим творчеством, своим творческим поведением привел на передний край борьбы за возрождение русской духовности в той литературе, что тогда звалась “русской, советской”. А вскоре, еще не войдя в пору полной художественной зрелости, он становится одной из ведущих личностей в том стане деятелей советской словесности, кого сегодня точнее всего можно бы назвать “русскими бунтарями” шестидесятых-семидесятых годов. Среди тех, кто, не отрицая и не отвергая лучшие ценности жизни и культуры, рожденные после 1917 года, и, что особенно важно, не отрекаясь от идейных основ советской системы, жаждал вернуть право первородства Русскому Слову. Кто считал себя не “родом из Октября”, а родом из тысячелетней России, создавшей вселенную сокровищ духа... Среди этих бойцов за воскрешение “исторической генетики” в бытии родной страны и народа и подлинной отечественности в русской советской культуре Куняев стал одним из самых отважных первопроходцев.

... Да, тогда, в 70-е и вплоть до разгара “катастрофы”, эта борьба носила, казалось бы, всего лишь внутрицеховой характер, шла вроде бы лишь внутри литературного мира. Ее события, на первый и сторонний взгляд, носили форму творческих дискуссий, разворачиваясь на страницах периодики, в залах Центрального Дома литераторов да иных подобных клубов. Но – лишь “казалось бы” и “вроде бы”... На деле же – патриотически настроенному русскому писателю в те годы бороться с казенным “интернационализмом”, под который умело маскировалась русофобия, было далеко не безопасно. Нынешним молодым почти невозможно представить, какое мужество – да и просто подвижничество – требовалось литератору, живописцу, режиссеру, чтобы выступать с трибуны, печатной или устной, против грядущих “прорабов перестройки”. Против тех, кому, как будущему ее обер-идеологу, а в те поры обер-идеологу в аппарате ЦК КПСС, такие понятия, как “русская духовность”

(и не дай Бог, “почвенничество”, “славянская душа” и т. д.), представлялись смертельными угрозами “коммунистической морали”. (Кто сомневается, гляньте статью “Против антиисторизма” А. Яковлева в “ЛГ” за 1972 год – мало не покажется...) Ох, несладко приходилось тогда тем, кто способен был на такой вызов, на подобные выступления: “казалось бы”, сугубо литературные споры тут же и весьма громко “аукались” и на Старой площади, и в других высокоуправляющих местах столицы. “Русские бунтари” сразу же оказывались действительно окруженными огнем. Чего стоит одна лишь судьба А. Никонова, главного редактора журнала “Молодая гвардия” в 60-е годы! За его стойкую позицию отечественности и сплачивания вокруг редакции патристический настроенных авторов он был буквально затравлен, подвергнут шельмованию – причем в том шельмовании слились воедино как “придворные оппозиционеры”, так и “литературоведы в штатском”, и писательские “комиссары” из числа “детей Арбата” (еще не восславленных А. Рыбаковым). И главным пунктом их обвинений было то, что они с безграмотной высокомерной пренебрежительностью звали “русистом”...

Вот и Ст. Куняеву не раз доводилось ощущать жар далеко не жизнетворного огня вокруг себя. Но он сам вызывал на себя этот огонь – свидетельством тому его стихи:

*Вызываю огонь на себя,
потому что уверен: друзья
через час подойдут на подмогу,
потому что, собираясь в дорогу,
я об этом друзей попросил –
с адским пламенем трудно сражаться...
Вызываю огонь... Продержаться
до подмоги хватило бы сил!*

... Несколько ниже мы еще вернемся к этому стихотворению, которое было посвящено памяти Юрия Селезнева, подвижника русской литературно-исследовательской школы, погубленного ревнителями “идеологической чистоты”. Последняя, как стало ясно, для большинства из них была лишь личиной, скрывавшей их биологическую, часто и наследную русофобию; пройдет еще несколько лет, и личина будет сброшена – стихотворение-то написано в середине 80-х... А до того, как написать его, поэт, уже обретший маститость, уже званный на писательский чиновный Олимп, неоднократно оказывался под огнем, который сам вызывал на себя – своим “русским бунтом”, не беспощадным, но жестким и вполне осмысленным. Это – и его выступление на дискуссии “Классика и мы”, где впервые и во весь голос зазвучало противостояние писателю-патриоту безликому официозу в советской литературе. Еще точнее – то гласно означило себя нежелание русских творцов словесности считать “путеводными звездами” те страницы послеоктябрьской поэзии и прозы, где, по существу, оплевывался и высмеивался наш народ, а его палачи с “одесско-библейскими” именами под пером услужливых критиков становились чуть ли не спасителями человечества... Я присутствовал на той дискуссии (конец 1977 года) в Большом зале ЦДЛ и хорошо помню: огромная аудитория буквально закачалась! Потрясение для всех оказалось небывалым! Еще бы – голосом Куняева дети корневой, рабоче-крестьянской России заявили о том, что в качестве положительных героев советской литературы они не хотят видеть “комиссаров Коганов”, под знаменами “революционного порядка” грабивших и уничтожавших наше крестьянство, разрушавших устои нашей национальной нравственности... Помнятся мне и такие выкрики в зале: “Да как он смеет! На святое замахнулся – на Багрицкого, на Бабеля!”

Да, для такого шага надобна была немалая смелость. Но прежде всего требовалось чувство собственной исторической правоты. Ощущение себя сыном многовековой народной культуры. Укорененность в ней... И сегодня, ретроспективно переживая заново те события литературно-общественной жизни, могу твердо сказать, что не в меньшей мере, чем для мужественного и рискованного выступления с трибуны, оные качества нужны были Куняеву для создания стихов, где он утверждал свое культурно-историческое кредо, воплощая его в образах, весьма чужеродных тогдашней пиитической “тусовке”. Более того, обличающих и отрицающих ее псевдоценности, но – возвышаю-

щих заповедный мир того русского человека, какого принято звать “простым”, в образах, высвечивающих эстетическую весомость этого мира, какими бы “корявыми” ни казались его носители... Приведу полностью одно из самых знаковых стихотворений такого плана – оно создано в 1978 году, и Куняев им “вызвал огонь на себя”, не менее обжигающий адским жаром, чем своим выступлением в дискуссии “Классика и мы”:

*Рифмачи, трубачи, хохмачи,
золотая элита эстрады,
я подумал в деревне Ручьи,
над которой пылают закаты,
что исчезнут в пространстве, смердя,
гонорары, престижи, афиши,
но дойдет до грядущего дня
этот вечный дымок из-под крыши,
где старуха, что зелье варит
и бормочет обрывок напева,
с большей страстью культуру творит,
чем вся ваша большая капелла,
потому что ее существо,
зная цену и слову и хлебу,
невелико, но и не мертво
и работает не на потребу.*

О-о, как взвились тогда и в печати, и в телерадиоэфире литературно-критические трубадуры “рифмачей, трубачей, хохмачей”, какой смесью яда и желчи плеснули в сторону автора этих строк апологеты профессиональных любителей работать “на потребу”, да и сами они. От “железобетонных” писательских официозов, усердно холуйствовавших перед чиновниками из ЦК, до строчкогонов-подстрочкинников и откровенных эстрадных халтурщиков – все взвились: как так?! какая-то темная старуха-знахарка, оказывается, созидает более подлинные и долговечные ценности культуры, чем мы, советские труженики пера?! Да как он смеет?! “Добрые люди” усиленно советовали поэту “не дразнить гусей”, быть осторожнее – тщетно. Да и без всяких кавычек – добрые, единомышленники его, но в силу разных причин (чаще всего все те же служебно-чиновных) вынужденные или предпочитавшие идти окольными, более безопасными тропами. Помнится, Феликс Феодосьевич Кузнецов, тогдашний глава Московской писательской организации, разоткровенничавшись со мной после застолья, увенчавшего собой некое мероприятие, излагал своим баритональным полупшепотом: “Сколько раз я уговаривал Стасика – не лезь на рожон, мало, что ли, шишек набил в этих стычках, ведь супостаты наши поизворотливей нас с тобой, и лап мохнатых у них на Старой площади полно, укатают они тебя, обломают! Нет, он опять за свое: теперь еще и письмо это безумное сочинил в ЦК... Столько лет я Вашего тезку знаю, а вот не пойму – о чем он думает, на что надеется?..”

... Не укатали, не обломали! Не послушался поэт своего маститого и матерого в литературных боях товарища-критика. Трудно сказать, о чем Станислав Юрьевич думал, когда решался на “безумные” шаги, но надеялся-то он, скорее всего, вот на что:

“Сила за вами, / а правда за мной, / Правда – словами, / а сила – стеной. / Сила несметна, / а правда бессмертна. / Вечен их спор / – и весь разговор”.

Больше русскому поэту в любые времена и при любых властях и режимах не на что надеяться... А то “безумное письмо”, о коем упоминал Феликс Феодосьевич, было действительно поступком отчаянным. Сам автор того послания в ЦК КПСС так определил его содержание в своих мемуарах: “... о засилье еврейства в высших идеологических сферах”. Кратко, но главное тут сказано. “Шапки загорелись” тогда, в 1979 году, на стольких деятелях этих самых “сфер”, что ответная реакция оказалась сверхжесткой. Сказать, что произошедшее можно было сравнить с эффектом взорвавшейся бомбы, – ничего не сказать. Разумеется, ни в какие наши СМИ сия история тогда попасть не могла ни в коем случае. (Хотя комментаторы “забугорных” радиостанций живо обсуждали ее, причем в своей злорадно-зловещей тональности они

самым странным – хотя и самым естественным – образом сливались воедино со своими главными идейными супротивниками: ах, новый взрыв антисемитизма, грядут погромы и так далее, словом, начали прокручивать тот сценарий, который стал “хитом” через 10 лет...) Но не было тогда такого творческого клуба, такого литсалона или просто кухни в интеллектуальной семье, где бы сие послание не обсуждалось... Самого же его автора – после ряда бесед в верховных кабинетах, где он от своих слов не отрекся, – “ушли” с поста рабочего секретаря столичной писательской организации. Вроде бы невелика репрессия? Та должность была не из самых престижных, “тягловой” работой Ст. Куняев на ней занимался, однако литераторы русского патриотического настроения сразу же ощутили, какая “зияющая высота” в их цехе образовалась, какой удар нанесен по ним всем.

Поэт вновь оказался в “окружении огня”...

И тут следует с горечью (и отнюдь не “задним числом”: мы как раз сегодня испытываем на себе последствия той горестной метаморфозы) упомянуть: далеко не все из тех, кто звал себя “заединщиками” своего боевого товарища по перу, не отступились от него. Немало оказалось и тех, кто, забыв блоковский завет “уют – нет, покоя – нет”, именно уют-то и покой, обеспеченно-размеренное существование предпочли... Через некоторое время, вспоминая те свои испытания, поэт и скажет в стихотворении “Вызываю огонь на себя...”:

*Где друзья? Почему не спешат?
Неужели с похмелья лежат?
Сроки вышли. Должны подойти.
Неужель заблудились в пути?
Плюнул. Выстоял. Дух закалил.
Затоптал адский пламень ногами.
Ну, маленько лицо опалил.*

*Словом, вышло добро с кулаками.
Я иду – победитель огня,
предвкушаю – дружина моя
от восторга и радости ахнет!
Но шарахнулись вдруг от меня:
– Адским пламенем, – шепчутся, –
пахнет!..*

Да, бывало такое, и не раз, шарахались – и в давние уже семидесятые, и в начале “катастрофы”, и в совсем недавние годы. Но и то сказать: самых стойких приверженцев “русского пламени” власть имущие (и не в меньшей мере те силы, что и внутри страны, и вне ее зовутся “закулисой”) подвергали отнюдь не символическим карам, наказывали изошренно и многообразно. Кое-кто и сгорал в “адском пламени”, причем иногда при весьма странных обстоятельствах – как тот же Юрий Селезнев, памяти которого, напомним, посвящено стихотворение...

Но – тут и вступает в действие одна из самых определяющих особенностей художественного мира, созданного героем этих заметок. Почти все его строки написаны от первого лица, они автобиографичны по самой “онтологии” своего прихода к читателю, а не по внешней канве биографии автора. Но читаю куняевские книги сегодня, перечитываю давние и в 90-е годы написанные стихи – и острей, нежели в прежние времена, ощущаю: их “я” – никогда не является только лишь авторским “я”. Оно (даже когда Куняев представляет нам свою сугубо личную конкретику пути – детство и юность в Калуге, а также “лирические возвращения” на родину, журналистские дороги в Сибири, геодезические скитания по тропам Памира и т. д., не говоря уже о вошедших в стихи литературных боях-ристалищах) всегда есть концентрация некоей духовной общности, единой – либо единившей когда-то и оставшейся “памятью сердца” – души, помыслы, натуры и действия немалого людского множества. По сути, это и есть неперемненное свойство настоящей словесности, кем бы и какого масштаба по дарованию ни был автор: он пишет о себе, говорит от своего лица, выявляет в слове глубины своей личностной планиды – и чем ярче он это делает, тем больше голосов других людей звучит в его голосе...

Когда такое происходит, читаешь строки поэта, безмерно, казалось бы, далекого тебе и по биографии, и по географии, но чувствуешь, понимаешь, видишь – он говорит о тебе. Причем нередко – от твоего лица, твоими словами, но только нашел их он, а не ты...

Такое происходило у меня и в годы юности, когда я только-только стал открывать для себя мир куняевского творчества. Причем многое, и не только в частностях, какое-то время или даже долго оставалось неясным, к иным строчкам возникали вопросы, а с чем-то по-мальчишески резко и не соглашался. А все равно: завораживало глгучее, по-мужски твердое звучание, насыщало душу тоже еще очень молодое движение слов... А с годами некогда неясное становилось обоснованием собственного пути. Так, чуть ли не возмущение вызвали когда-то вот эти, ныне хрестоматийные строчки: “Полжизни прошло на вокзалах – в Иркутске, в Калуге, в Москве, и несколько мыслей усталых осталось в моей голове”. Максималистски настроенная читательская душа вспыхнула: и стоило ли годы бродить по белу свету всего лишь ради такого крохотного итога?... Должно было пройти очень немало лет, чтобы и в этом я вошел в согласие со своим старшим тезкой. Нужно было помытариться и в тропиках, и в небе Арктики, и в той же столице, нужно было потерять многое и многих, чтобы наконец понять: обретаем мы всего лишь поистине несколько высоких истин, не более того. Но зато – своих, ничьих более, только своих. И хотя “сколько всяких великих людей объясняли нам, кто мы такие...”, как тем же автором было сказано не без иронии, но всерьез, – но уже ничьи разъясняющие “указивки” с державных и иных вершин не вышибут из нас этих нескольких мыслей и этих истин, да, немногих, но кровных, выстраданных в трудах и в борениях...

Конечно, в отношении к поэту, к его творениям многое играет и судьба читателя, вехи его жизненного пути. Вот так и я (причем сегодня ещё сильнее, нежели во второй половине 80-х, когда “Русские сны” увидели свет и покорили меня) воспринимаю “калужские” строки самой мощной и проникновенной – по моему личному разумению – поэмы Куняева как принадлежащие самым сокровенным глубинам моей души, как родные мне звуки жизни, явленной Словом:

“Мне кажется, что я живу века, / что столько жизни в жизни наслоилось – / которым довоенная Ока, / как древняя икона, золотилась. / То просыпалось, то опять в плену / случайных слов, в которых, не пойму, / какой-то светлый отрок деловито / паяет бабам ведра и корыта... / И олово течет... Но рвется нить, / и почему-то пушкинские строчки, / что невозможно родину сменить, / я вспоминаю...”

“Каждый помнит какую-то русскую реку”, – сказано было В. Набоковым в бытность его поэтом по имени Сирин.

Автору “Русских снов” всю жизнь снится его Ока. Смени в приведенных строфах сей топоним на имя псковской реки Великой – и полностью, и в психологических подробностях явлен тот первообраз чувств, ощущений и раздумий, который всегда живет и заново оживает в соприкосновении с древнейшим “градом Святой Ольги” у автора этих заметок. Да и убежден, знаю по общению с широчайшими кругами читателей: и своих сверстников, и к поколениям более молодым и зрелым принадлежащих, – такой, говоря языком психоаналитиков, “архетип” эмоционально-чувственной и мыслительной основы возникает едва ли не у каждого, кто способен “мыслить и страдать” (А. С. Пушкин) при встрече с родным гнездом, будь то село, хутор или даже двор-колодец детства... Таково воздействие поэзии, которой веришь!

...Единящая, единительная суть корневого отечественного стиха. Да, она постигается именно верой. На уровне подсознательном, в той сфере человеческого существа, что зовется старинным титулом “тайная тайных”. Только так можно, вдыхая воздух отчего края, ощутить и поверить в то, что ты тут и впрямь жил веками и многие столетия спустя ты будешь тут жить – вот как эта родная река... Только так можно принять слова поэта как Глагол твоей собственной судьбы.

И особенно когда поэт, принимая вызов бытия и времени, в ответ действительно вызывает огонь на себя.

И этот огонь в “демократические” времена обжег Станислава Куняева уже не в переносном смысле, не метафорически, и даже не в качестве “номенклатурной” опалы, нет, буквально, как смертоносное орудийное пламя.

В страшную, роковую для всей страны ночь с 3 на 4 октября 1993 года (чего, к несчастью, большинство россиян тогда еще и не осознавали) поэт оказался в Останкино, где должен был в телепередаче сказать свое слово о Есенине, оказался, вместе с сотнями других участников, свидетелей и очевидцев той трагедии, под огнем ельцинских наёмников, под обстрелом их гранатомётов и автоматов. Не стихами – самой суровой и жесткой прозой изобразил он ту ночь во втором томе своей книги-откровения “Поэзия. Судьба. Россия”. Вот несколько строк из этого исповедального воспоминания:

“Толпа, видимо, узрев что-то недоступное моему взору, мы все-таки стояли метрах в пятидесяти от входа, – подалась, и вдруг меня ослепил блеск пламени и оглушил грохот. “Гранатомет!” – мелькнуло у меня в сознании, и в следующий миг над нашими головами раздалась автоматные очереди со второго этажа, оттуда, где все время мелькали какие-то тени. Гильзы звонко зацокали о бетонные плиты, и мы рухнули за спасительный гранитный бордюр, прижимаясь друг к другу... Когда через несколько минут стрельба ослабла, я поднял голову, увидел в темноте лежащих, встающих, шевелящихся, начинающих передвигаться людей, и сам короткими перебежками, почти на четвереньках, выбрался, как мне показалось, в “мертвую”, непростреливаемую зону в направлении цоколя и побежал к моей одиноко стоявшей машине. Несколько автомобилей, возле которых я поставил свой, уже на тротуаре не было...”

По дороге я вдруг заметил лежащего за фонарным бетонным столбом паренька в голубой куртке, рядом с ним валялись разбросанные, шевелящиеся от ветра брошюры. Одну из них, наклонившись, я схватил на память об этом дне: “Списки палачей России 1919–1939 годов”. 3 и 4 октября эти списки щедро пополнились...”

“Окруженный огнем...” Не стихи, но – настоящая, высокая поэзия. Дело не только в максимально точной передаче зрительных впечатлений от тех жутких часов и мгновений, хотя действительно, чего стоит одно только это звонкое цоканье гильз о бетонные плиты... Перед нами – документальное свидетельство трагедии, созданное поэтом. Я в те часы не сподобился быть у Башни: мне довелось тогда находиться среди тех, кто у дворца российского парламента, у Белого дома, готовился к его обороне, к битве, неравной и сверхкровавой, которая произошла на рассвете после той ночи... Со многими участниками и очевидцами останкинской бойни мне удалось поговорить в последующие дни и месяцы, потом и воспоминания кое-кого из них читал. Но зримее и достовернее всех повествований, устных и печатных, стало сказанное Куняевым в книге его размышлений и воспоминаний. Вижу тот расстрел – его глазами. Его словам поверил сразу и сильнее, чем словам всех других.

Станиславу Куняеву я поверил с первой встречи с его поэзией.

Что примечательно: в отличие от творений других (причем сильных, настоящих, не “на потребу” работавших) поэтов его поколения, многие его стихи врезались мне в сердце и в мирознание “как бы” без имени и автора. Говорил уже в начале заметок: имя это окончательно утвердилось в памяти лишь со стихотворением “...окруженный огнем”. Но ещё в 60-е годы я знал наизусть немалый ряд его вещей – не помня имени автора. Могли ли не запомниться и не полюбить юному жителю русского Северо-Запада, что ни месяц носившемуся на поездах в обе столицы и в родной град, вот эти строки:

*Слева Псков, справа станция Дно,
где-то в сторону Старая Русса, –
потому-то и сладко, и грустно
поглядеть на прощанье в окно.*

Ладно, родной пейзаж, он всегда, начиная с “Мороз и солнце...”, и в стихах, и в прозе словно бы “всехный”, любым мастером словесности нашей он мог быть написан. Однако и сейчас вот чему удивляюсь: еще студентом, в “обменных” поездках по Европе, остолбеневая от комфортного быта и еще более – от уже воцарявшихся там тогда духовной сытости и оупения, не раз повторял про себя следующий фрагмент: “...Вспоминаю Блока и Толстого, /дым войны, дорогу, поезда... / Скандинавской сытости основа – / всюду Дело. / Ну, а где же Слово? / Может быть, исчезло навсегда?..”

...А вот чьи это строки – совершенно о том не задумывался. И уже в 70-е годы, когда началась моя профессиональная литературская стезя и когда мой старший тезка подарил мне свое первое небольшое избранное, я, читая его, не раз хватался за голову, – да я же давно знаю эти стихи! и это стихотворение... и вот то! только не знал, кто их автор... Тогда-то, при внимательном и пристальном чтении, и стало доходить до меня понимание того, почему столь глубоко, накрепко запечатлевались в моём мирознании столь многие страницы его молодого творчества. Да, молодого (тем более по нашим временам, в 25–35 лет рождавшегося), но отмеченного нараставшим с каждым годом мастерством. И это мастерство, вошедшее в зрелость, покоряло меня, уже к тому времени немало искушенного в тайнах стихотворчества. Именно тем покоряло, что состояло не в “приемах”, проявлялось не в бьющей в глаза и в слух изощренной звукописи – нет, оно шло от внутреннего звучания, от природы стиха, от самого содержания, нередко “шершавого”, как сама жизнь:

*От Великой ГЭС до Усть-Илима
вечных сосен чёрная гряда,
красная строительная глина,
светлая байкальская вода...*

Согласимся, этот пейзажный “стоп-кадр” сразу же захватывает, запоминается, становится панорамным символом времени и созидания – во многом благодаря яркой и точной колоратуре определений, их спектральному переходу: “чёрная”, “красная”, затем – “светлая”; мастерская психологическая работа цветом... Потому-то, уже “зарядившись” этим восприятием, органично живаешься в драматическое естество следующих строк:

*Я люблю тебя, большое время,
но прошу – прислушайся ко мне:
не убей последнего тайменя,
пусть гуляет в тёмной глубине.
Не губи последнего болота,
загнанного волка пощади,
чтобы на земле осталось что-то,
от чего щемит в моей груди...*

За 30 с лишним лет, прошедших со времени создания этих строк, во многом рожденных “экологическими” тревогами (заметим, Ст. Куняев едва ли не первым в своём поколении заговорил об опасности убиения природы – причём и как естества в самом человеке), все переменялось в стране, в другом государстве давно уже живем – но драматизм их звучания стал многократно острее. Они не просто пережили час своего создания (хотя и остались поэтическим документом того часа), они живут сегодня в нашем духовном пространстве как его движущая жизнотворная часть. Как поэзия. Такова же судьба у большинства стихотворений и поэм Ст. Куняева.

...Конечно, и в наши, пронизанные бедствиями гексогенно-взрывные дни, точно так же, как и во времена давние, трудно, а подчас и невозможно отделять сущность поэта как собственно поэта, художника стиха, от его общественно-гражданственного облика. (А таковой, замечу, есть у любого литератора, даже у тех, кто если не в буквальном, то в переносном смысле уходит в скит, – это и есть его социальный облик.) Да, наверное, и нет смысла проводить такую “разделительную линию”: все взаимосвязано в творческом человеке. И все же... Да, поэт, которому посвящены прочитанные вами заметки, воспринимается, без преувеличения, абсолютным большинством читателей и его коллег (в том числе и его непримиримых противников) как боец, как тягловый боец русской духовной нивы. Да, сегодня Станислав Куняев для нас – настоящий и, может быть (к несчастью нашему), единственный подлинный, незапятнанный лидер Русского Духовного Сопротивления. Бесстрашный руководитель “Нашего современника” – это уж точно, единственного из центральных подобных изданий, которое всерьез и обоснованно выступает против кремлевской антирусской политики. Страстный объединитель всех сил и всех деятелей литературы и искусства, которые не хотят превращения родины

